

Р О С С И Й С К А Я А К А Д Е М И Я Н А У К
И Н С Т И Т У Т РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

Ч
ТРУДЫ ОТДЕЛА
ДРЕВНЕРУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

XLV



С.-ПЕТЕРБУРГ
«НАУКА»
С.-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1992

**МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ЧЛ.-КОР. АН СССР
ВАРВАРЫ ПАВЛОВНЫ АДРИАНОВОЙ-ПЕРЕТЦ**

Д. С. ЛИХАЧЕВ

Вступительное слово

О Варваре Павловне Адриановой-Перетц можно сказать, что, с одной стороны, она сохраняла традиции академической науки и традиции академического быта в широком смысле этого слова; с другой стороны, она постоянно отступала от этих традиций, отказываясь от научной замкнутости ради работ обобщающих, доступных, популярных, учебных, публицистических и просто интересных. В своей квартире на улице Маяковского, из которой ей нечасто удавалось выходить из-за болезни, она жила очень активной общественной жизнью, интересуясь всеми событиями культуры, читая все журналы, обсуждая с многочисленными друзьями новинки литературы. Некоторые из этих друзей жили тут же в доме: Д. М. Молдавский, В. С. Бахтин и другие. Но ее квартира была доступна далеко не для всех. Академическая и просто моральная избранность была для нее типичной.

Я помню, как, поступая в **19**23 г., я захотел заниматься в семинарии по русской филологии у академика Владимира Николаевича Перетца. Список семинаров был вывешен. Но я не сразу узнал, что занятия этого семинария (а говорили тогда именно «семинарий», а не «семинар») ведутся дома у Владимира Николаевича Перетца и чтобы попасть туда, необходимо иметь рекомендацию, которую я, конечно, получить не мог, так как в университете у меня вообще не было знакомых. В те времена семинарии были основной формой университетских занятий. Общие курсы не только никого не интересовали, но и не читались, если только эти общие курсы не велись учеными, обладавшими крупной индивидуальностью в науке, которые могли развить как-то свою концепцию. Я помню, как, не попав к Владимиру Николаевичу Перетцу, не найдя его просто нигде (никаких справок о том, где этот семинарий ведется, в какой аудитории, на дому ли, я не нашел), яшел к Горчинскому, потому что Горчинский преподавал нам древнерусскую литературу. Я сразу понял, что он мог бы вообще преподавать любой другой предмет, не отступая от учебника, как говорят, если бы учебники вообще были в те времена. Учебников не было.

Семинарии и просеминарии, которые меня удовлетворяли, были: А. Н. Введенского — по логике и введению в философию; С. К. Боянуса — по английской фонетике; В. М. Жирмунского — по английской лирике первой трети XIX в.; его же семинарий по Диккенсу, который он вел в Герценовском институте; Л. В. Щербы — по медленному чтению Пушкина; В. Л. Комаровича — по Достоевскому (этот семинарий велся чуть не два раза в неделю); В. Е. Евгеньева-Максимова — по Некрасову и по русской журналистике XIX в. У В. Е. Евгеньева-Максимова это были первые занятия, которые он вел в университете, и надо сказать, что сразу очень удачно, потому что он всех своих студентов заставлял работать в рукописных отделениях и в отделениях газет и журналов. Он приучал заниматься в архивах с самого начала — то, что сейчас очень редко

делается. У Дмитрия Ивановича Абрамовича я занимался историографией древнерусской литературы и древнерусской повестью.

Я ходил также на занятия к Александру Александровичу Смирнову, который вовсе не был таким ретроградом и академически замкнутым ученым, как его изображает О. М. Фрейденберг в своей переписке с Б. Л. Пастернаком (сейчас эта переписка широко читается и цитируется). А. А. Смирнов был человеком, живущим современной для него литературной жизнью, очень живым, постоянно участвовавшим в различных диспутах, принимавшим участие в работе «Всемирной литературы» у А. М. Горького. К Н. Н. Томасову я ходил на занятия по греческому языку, к Владимиру Карловичу Мюллеру — на занятия по Шекспиру и на дом к мисс Стайн — на занятия по английскому языку.

Хочу еще упомянуть, какое большое значение имели для меня кружки, общества и ассоциации как в самом университете, так и вне стен его. Это Вольфилы, Хельфернак, собиравшиеся на одной из квартир; кружок А. А. Мейера и т. д. В том же университете у доктора Поля собирался кружок по философии, где еще до 1923 г. я видел Н. О. Лосского. Всюду были яркие индивидуальности руководителей, ну и яркие индивидуальности постоянных посетителей этих кружков и семинаров, причем очень типично, что на заседания семинариев в университете приходили маститые ученые. Так, например, на занятия у Л. В. Щербы иногда заглядывал и сидел Виктор Владимирович Виноградов, правда, он тогда не был маститым. Это был молодой, очень модно одетый человек, который подсаживался к Л. В. Щербе (Л. В. Щерба был старше его возрастом), и они вместе начинали перед нами спорить по поводу толкования того или иного места в «Медном всаднике». Это была импровизация, это не была заранее обдуманная педагогическая акция. Такие же споры шли с Гизетти, Л. В. Пумпянским, С. А. Аскольдовым. Огромный интерес вызывали диспуты между формалистами и традиционалистами. Здесь были блестящие спорщики: прежде всего это Борис Викторович Томашевский и Б. М. Эйхенбаум, В. М. Жирмунский, а также Л. В. Пумпянский. Иметь свои собственные взгляды по тому или иному кругу вопросов — философских, методологических в области литературоведения — считалось почти обязательным для каждого студента. Если только этот студент обладал хоть малейшей долей самоуважения и гордости, он должен был примишкать к каким-то взглядам или высказывать свои взгляды, или сочинять какую-то свою философию. Помню, что в университетском коридоре, где на расставленных у окон во всю его мощную длину скамьях сидели студенты и спорили, я спросил, едва познакомившись, у своего соседа: «Какое ваше мировоззрение?». Это вопрос был типичный для того времени. Прямо: «Какое ваше мировоззрение?». И этот студент, покосившись на меня одним глазом, чтобы увидеть произведенное впечатление, ответил: «*Proctum fantas mistic*». Я это запомнил очень хорошо. Подошел ко мне в университетском коридоре однажды Виктор Борисович Шкловский и спросил: «Сколько вам лет?» (у меня был вид очень молодой). Я ответил: «Шестнадцать». Он сказал: «Пора начать хулиганить». Потому что Виктор Борисович сам в тот период был очень хулиганистый литературовед. Ведь сама школа формалистов вышла из озорства: это не была серьезная академическая школа, это было озорство. Виктор Эрлик изображает ее как какую-то своеобразную академическую школу, а она скорее всего была эпатированной, главным образом присутствующих на диспутах. А ведь это было уже время, когда отъехал с Васильевского острова «профессорский пароход» на Штеттин, уже не было башни Вячеслава Иванова над Таврическим садом и уже был закрыт «Привал комедиантов».

Как на этом фоне воспринимался семинарий русской филологии Владимира Николаевича Перетца? Очень многим он казался провинциальным, киевским. Весь раздутый от идей Петроград (он действительно тогда был раздут идеями) сам был сугубо дилетантским, с точки зрения семинара

Владимира Николаевича. Своей чужеродностью отчасти и объяснялась некоторая замкнутость и недоступность семинария Владимира Николаевича Перетца. Во всяком случае замкнутость в пределах университета перетцевского семинарии не была изначальной, киевской. В Киеве, где семинарий зародился, это было веселое и уютное сообщество молодежи и маститого ученого, о чем свидетельствуют замечательные воспоминания А. А. Назаревского в «Трудах Отдела древнерусской литературы» (т. 29). Жизнь семинария характеризовалась совместными посещениями театров, концертов, катаниями на лодках по Днепру, совместными поездками для описаний рукописей, которые были не только деловыми, выливавшимися в очень важные и интересные научные книги, но являлись вместе с тем и большим развлечением. Однако личная жизнь каждого молодого участника семинария строго регламентировалась руководителем, это продолжалось и в Петрограде. Иными словами, если бы я поступил в семинарий В. Н. Перетца и прижился там, это означало бы, что все мои посещения других семинарий были бы под контролем Владимира Николаевича Перетца, который бы мне говорил, кого следует посещать, кого не следует, на что тратить время, на что его не тратить, поскольку культ бережливости времени был поставлен в семинарии В. Н. Перетца очень серьезно. И браки участникам семинарии В. Н. Перетца до определенного срока проходения обучения строго запрещались. С. Д. Балухатый женился тайком, «сбежав» в Тверь; Александру Исааковичу Никифорову подыскала невесту в Клину В. Л. Комарович. И в семинарии Владимира Николаевича на улице Маяковского, действительно, было что-то от средневековых монастырей. А Варвара Павловна строго блюла заветы В. Н. Перетца в его отношении к науке и к ученикам.

С арестом Владимира Николаевича, его высылкой в Саратов главой перетцевской науки стала Варвара Павловна. Но вот что важно. При всем ее благоговейном отношении к Владимиру Николаевичу как ученому она ввела и свои петроградско-ленинградские особенности в жизнь возглавляемого ею сообщества молодых ученых. Вынужденная из-за болезни вести затворнический образ жизни, она понимала, что наука нужна теперь всем, и настойчиво доказывала необходимость изданий по древнерусской литературе для широкого читателя, отнюдь не снижая к ним научных требований. Вела она и семинарий в Зубовском институте (уже непосредственно в самом институте проводя занятия со своими учениками), организовывала, хотя и не могла ездить сама, комплексные экспедиции, которые тогда были в моде. Все это уже было отступлением от заветов Владимира Николаевича. Характер «Литературных памятников» — серии, организованной Варварой Павловной и открывшейся «Хождением за три моря Афанасия Никитина», в значительной степени объясняется новым ее подходом в вопросе пропаганды науки. Появление неофициальной серии монографических изданий-исследований памятников древнерусской литературы также было отступлением от школы Владимира Николаевича Перетца, но отступлением своеобразным. Сохранился строгий академический характер изданий при их широкой доступности. Вот последнего Владимира Николаевич не любил. Исходя из положений В. Н. Перетца, Варвара Павловна далеко от него отошла. Достаточно остановиться на одном примере. Во второй половине XIX в. существовало (в частности, в школе Александра Николаевича Веселовского) убеждение, что для истории литературы важны не вершины, не исключительные, не единичные явления, а явления массовые, средние по своим литературным достоинствам; что не дело науки оценивать произведения. Принцип этот Владимир Николаевич ввел в разряд основополагающих для своей науки. В своих семинарских занятиях с новичками он начинал именно с разъяснения этого положения, в котором видел научность своего метода и его драматизм. Это своеобразное «шестидесятичество» (недостаточно сейчас вскрытое) было и у А. Н. Веселовского, и у В. Н. Перетца. Для науки,

с этой точки зрения, важнее бесталанные, обычные произведения, а не талантливые, гениальные, как бы нарушающие общую линию развития литературы. Василий Леонидович Комарович вспоминал, что когда он пришел в семинарий к В. Н. Перетцу, то Владимир Николаевич сказал: «Ну что же, вы пришли Пушкиным заниматься? Нет, голубчик, посидите на произведениях более обычных, более распространенных». Варвара Павловна не отошла от этого принципа в полной мере, но она его преобразовала, так что произведения массовые оказывались произведениями народными, а бесталанные — значительными и талантливыми. Достаточно напомнить об открытии ею демократической сатиры XVII в. во всех ее разновидностях. Она исходя из принципов и интересов В. Н. Перетца все же открыла чрезвычайно интересную литературу. Что касается метода, то и здесь Варвара Павловна значительно расширила методологические и методические подходы Владимира Николаевича. Она стала подходить к литературе как к одному из явлений истории культуры. Это было бы немыслимо для Владимира Николаевича. Во второй половине 1930-х гг. Варвара Павловна стала группировать вокруг Сектора историков, искусствоведов, археологов, даже богословов. Сохранив в школе Перетца строгость научного подхода, ее академизм, Варвара Павловна произвела в ней своего рода революционный переворот, смело взявшись за большие темы, отвергавшиеся Владимиром Николаевичем как ненаучные, верхоглядские, дилетантские, в частности, приступив к написанию самой обширной из существовавших ранее десятитомной «Истории русской литературы», издававшейся нашим институтом. В этой связи пришлось задуматься над такими вопросами, самое существование которых было немыслимо для перетцевского подхода. Так появились вопросы отбора наиболее значительных произведений (Владимир Николаевич считал, что оценивать — не дело науки); затем — вопросы периодизации, которые Владимиру Николаевичу были совершенно чужды. Варвара Павловна с успехом преодолела это отчуждение, создав периодизацию, которой до сих пор в общем пользуемся и мы. Периодизацию эту ей пришлось сделать просто заново, вне школы Перетца, и сделала она ее очень удачно. Сейчас нет необходимости говорить о значительности для науки отдельных работ-монографий, изданий памятников, предпринятых В. П. Адриановой-Перетц. Об этом хорошо и много писалось. Важно подчеркнуть, что Варвара Павловна реформировала школу Перетца. Без своей ученицы Перетц остался бы в истории нашей науки главным образом как педагог и автор многих работ по немногим и, казалось бы, незначительным темам. Конечно, с ним была бы связана история театра конца XVII—XVIII вв., во все-таки.

Ученица превзошла своего учителя. И если Варвара Павловна писала о Владимире Николаевиче как об Учителе с большой буквы, то сама она была Ученницей тоже с большой буквы. Варвара Павловна была последовательницей и вместе с тем реформатором школы В. Н. Перетца, и в свою очередь она тоже стала большим Учителем.

Возвращаясь к вопросу о том, была ли школа Перетца провинциальной, — вопросу, который волновал ученых университета в начале двадцатых годов, мы можем теперь смело утверждать, что В. Н. Перетц и сейчас стоит «на челе» нашей науки, и хотелось бы только пожелать, чтобы перетцевская дисциплина, дисциплина научного творчества, всегда поддерживалась в нашем Отделе и чтобы всегда сохранялись в нем те научные и общественные традиции, которые связаны с именем Варвары Павловны Адриановой-Перетц.